

1

Вот рассказ из дней зимы конца тысяча девятьсот пятьдесят девятого года — начала года шестидесятого. Есть в этом рассказе заблуждение и желание, есть безответная любовь и есть некий религиозный вопрос, оставшийся здесь без ответа. На некоторых домах до сих пор заметны следы войны, разделившей город десять лет тому назад. Откуда-то из-за опущенных жалюзи доносятся приглушенная мелодия аккордеона или рвущий душу сумеречный напев губной гармошки.

Во многих иерусалимских квартирах можно найти на стене гостинной водовороты звезд Ван Гога или кипение его кипарисов, а в спальнях пол все еще укрывают соломенные циновки; “Дни Циклага”¹ или “Доктор

1 Монументальный роман Самеха Изхара (Изхар Смилянский, 1916–2006), главные герои которого — солдаты, а действие происходит в течение одной из недель Войны за независимость. Циклаг — древний город в пустыне Негев, неоднократно упоминаемый в Библии. — *Здесь и далее примеч. перев.*

Живаго” лежат распахнутые, вверх обложкой, на тахте с поролоновым матрасом, прикрытой тканью в восточном вкусе, рядом с горкой вышитых подушек. Весь вечер горит голубое пламя керосинового обогревателя. Из снарядной гильзы в углу комнаты торчит стилизованный букетик из колочек.

В начале декабря Шмуэль Аш забросил занятия в университете и засобирался покинуть Иерусалим — из-за любви, которая не удалась, из-за исследования, которое застопорилось, а главным образом из-за того, что материальное положение его отца катастрофически ухудшилось и Шмуэлю предстояло найти себе какую-нибудь работу.

Он был парнем крупного телосложения, бородатым, лет двадцати пяти, застенчивым, сентиментальным, социалистом, астматиком, легко увлекающимся и столь же быстро разочаровывающимся. Плечи у него были тяжелыми, шея — короткой и толстой, такими же были и пальцы — толстыми и короткими, как будто на каждом из них недоставало одной фаланги. Изо всех пор лица и шеи Шмуэля Аша неудержимо рвалась курчавая борода, напоминавшая металлическую мочалку. Борода эта переходила в волосы, буйно курчавившиеся на голове, и в густые заросли на груди. И летом и зимой издали казалось, что весь он распален и обливается потом. Но вблизи, вот приятный сюрприз, выяснялось, что кожа Шмуэля источает не кислый запах пота, а, напротив, нежный аромат талька для младенцев. Он пьянел в одну секунду от новых идей — при условии, что эти идеи являются в остроумном одеянии и таят некую интригу.

Уставал он тоже быстро — отчасти, возможно, из-за увеличенного сердца, отчасти из-за донимавшей его астмы.

С необычайной легкостью глаза его наполнялись слезами, и это погружало его в замешательство, а то и в стыд. Зимней ночью под забором истошно пищит котенок, потерявший, наверное, маму, он так доверчиво трется о ногу и взгляд его столь выразителен, что глаза Шмуэля тотчас туманятся. Или в финале какого-нибудь посредственного фильма об одиночестве и отчаянии в кинотеатре “Эдисон” вдруг выясняется, что именно самый суровый из всех героев оказался способен на величие духа, и мгновенно у Шмуэля от подступивших слез сжимается горло. Если он видит, как из больницы Шаарей Цедек выходят изможденная женщина с ребенком, совершенно ему не знакомые, как стоят они, обнявшись и горько плача, в ту же секунду плач сотрясает и его.

В те дни слезы считались уделом женщин. Мужчина в слезах вызывал изумление и даже легкое отвращение — примерно в той же мере, что и бородатая женщина. Шмуэль очень стыдился этой своей слабости и прилагал огромные усилия, чтобы сдерживаться, но безуспешно. В глубине души он и сам присоединялся к насмешкам над своей сентиментальностью и даже примирился с мыслью, что мужественность его несколько ущербна и поэтому, вероятнее всего, жизнь его, не достигнув цели, пронесется впустую.

“Но что ты делаешь? — вопрошал он иногда в приступе отвращения к себе. — Что же ты, в сущности, делаешь, кроме того, что жалеешь? К примеру, тот же котенок, ты мог укутать его своим пальто и отнести к себе в комнату.

Кто тебе мешал? А к той плачущей женщине с ребенком ты ведь мог просто подойти и спросить, чем можно им помочь. Устроить мальчика с книжкой и бисквитами на балконе, пока вы с женщиной, усевшись рядышком на кровати в твоей комнате, шепотом беседуете о том, что с ней случилось и что ты можешь для нее сделать”.

За несколько дней до того, как оставить его, Ярдена сказала: “Ты либо восторженный щенок — шумишь, суетишься, ластишься, вертишься, даже сидя на стуле, вечно пытаешься поймать собственный хвост, — либо бирюк, который целыми днями валяется на кровати, как душное зимнее одеяло”.

Ярдена имела в виду, с одной стороны, постоянную усталость Шмуэля, а с другой — намек на его одержимость, проявившийся в походке: он всегда словно вот-вот был готов сорваться на бег; лестницы одолевал штурмом, через две ступеньки; оживленные улицы пересекал по диагонали, торопливо, не глядя ни вправо ни влево, самоотверженно, словно бросаясь в гущу потасовки. Его курчавая, заросшая бородой голова упрямо выдвинута вперед, словно он рвется в бой, тело — в стремительном наклоне. Казалось, будто ноги его изо всех сил пытаются догнать туловище, преследующее голову, боятся отстать, тревожатся, как бы Шмуэль не бросил их, исчезнув за поворотом. Он бегал целый день, тяжело дыша, вечно торопясь, не потому что боялся опоздать на лекцию или на политическую дискуссию, а потому что каждую секунду, утром и вечером, постоянно стремился завершить все, что на него возложено, вычеркнуть все, что у него записано на листке с перечнем сегодняшних дел.

И вернуться наконец в тишину своей комнаты. Каждый из дней его жизни виделся ему изнуряющей полосой препятствий на кольцевой дороге — от сна, из которого он был вырван поутру, и обратно под теплое одеяло.

Он очень любил произносить речи перед всеми, кто готов был его слушать, и особенно — перед своими товарищами из кружка социалистического обновления; любил разъяснять, обосновывать, противоречить, опровергать, предлагать что-то новое. Говорил пространно, с удовольствием, остроумно, со свойственным ему полетом фантазии. Но когда ему отвечали, когда наступал его черед выслушивать идеи других, Шмуэля тотчас охватывали нетерпение, рассеянность, усталость, доходившая до того, что глаза его сами собой слипались, голова падала на грудь.

И перед Ярденой любил он витийствовать, произносить бурные речи, рушить предвзятые мнения и расшатывать устои, делать выводы из предположений, а предположения — из выводов. Но стоило заговорить Ярдене, и веки его смыкались через две-три секунды. Она обвиняла его в том, что он никогда ее не слушает. Он с жаром отрицал, она просила его повторить ее слова, и Шмуэль тут же принимался разглагольствовать об ошибке Бен-Гуриона¹.

1 Давид Бен-Гурион (Давид Иосеф Грин, 1886–1973) — лидер еврейского Рабочего движения. 14 мая 1948 года провозгласил государственную независимость Израиля. Первый глава правительства и первый министр обороны Государства Израиль. Деятельность Бен-Гуриона наложила глубокий отпечаток на формирование израильского общества и израильской государственности.

Был он добрым, щедрым, преисполненным благих намерений и мягким, как шерстяная перчатка, вечно старавшимся всегда и всем быть полезным, но также был и несобранным, и нетерпеливым: забывал, куда подевал второй носок; чего хочет от него хозяин квартиры; кому он одолжил свой конспект лекций. Вместе с тем он никогда ничего не путал, цитируя с невероятной точностью, что сказал Кропоткин о Нечаеве после их первой встречи и что говорил о нем спустя два года. Или кто из апостолов Иисуса был молчаливее прочих апостолов.

Несмотря на то что Ярдене нравились и его нетерпеливость, и его беспомощность, и его характер большой дружелюбной и экспансивной собаки, норовящей подлезть к тебе, потереться, облизывать в ласке твои колени, она решила расстаться с ним и принять предложение руки и сердца своего прежнего приятеля, усердного и молчаливого гидролога Нешера Шершевского, специалиста по дождевой воде, умевшего угадывать ее желания. Нешер Шершевский подарил ей красивый шейный платок на день ее рождения по европейскому календарю, а на день рождения по еврейскому календарю, через два дня, — бледно-зеленую восточную циновку. Он помнил даже дни рождения ее родителей.